

## Глава VI

*Вечера у графа Ф. П. Толстого. – Кукольниковская партия. – Вечер у Гребенки. – Шевченко. – Сотрудник Сенковского и М. А. Языков. – Серапионовы литературные вечера во 2-м кадетском корпусе. – А. А. Комаров, П. В. Анненков и капитан Клюге фон Клугенау. – Знакомство мое с Н. А. Майковым. – 14-летний Аполлон Майков. – И. А. Гончаров и г. Дудышкин. – Кукольник в кругу офицеров. – Приезды А. В. Кольцова в Петербург. – Мое сближение с ним. – Разговоры о Белинском. – Впечатления, произведенные на меня «Литературными мечтаниями» Белинского.*

Петербургские литераторы в тридцатых годах сходились обыкновенно по средам и по воскресеньям у П. А. Плетнева, по воскресеньям же у графа Ф. П. Толстого и по субботам у князя Одоевского. У Плетнева собирались только самые короткие приятели его (г. Краевский был в числе их) и изредка появлялись Пушкин, Вяземский и Соболевский; о вечерах князя Одоевского я уже говорил; общество графа Ф. П. Толстого имело свой особенный колорит. Оно состояло из молодых художников, подававших, по мнению гг. академиков, большие надежды, из литераторов партии Кукольника и из каких-то молодых и пожилых любителей литературы и искусств, захлебывавшихся при появлении Брюллова и Кукольника и для удовольствия хозяина дома готовых на все, – даже протанцовать, за неимением лучших кавалеров (у Толстого часто устраивали танцы). Брюллов бывал на этих воскресеньях редко, Кукольник не пропускал почти ни одного воскресенья.

Каменский, кавказский герой, о котором я уже упоминал, женился на дочери графа Ф. П. Толстого и жил в это время вместе с ним. Каменский устроил себе очень эффектный кабинет с яркопунцовыми занавесами и портьерами и с яркопунцовой мебелью. Он писал в красных широких шальварах и в красных туфлях на розовой бумаге свои «Иакова Моле», «Концы мира», «Фультонов», «Танцы смерти» и замышлял «Игнатия Лойолу». Приятель Брюллова и Кукольника – творцов «Последнего дня Помпеи», «Руки всевышнего», «Роксоланы» и прочее – не мог же он брать для своих сочинений какие-нибудь ничтожные предметы из вседневной жизни... Кукольник преследовал мелкое, по его мнению, направление литературы, данное Пушкиным, все проповедывал о колоссальных созданиях; он полагал, что ему по плечу были только героические личности. Брюллов писал колоссальные картины. Каменский все также бредил колоссами и с иронической улыбкою поглядывал на тех, которые брали предметом для своих рассказов современную и обыденную жизнь.

Дом графа Толстого имел в это время так много привлекательного для молодых людей с артистическими наклонностями, все преувеличивающих и все раскрашивающих пылким воображением. Направо – изящный кабинет зятя, молодого литератора, беспрестанно переходившего от чудного мира своей фантазии, от своих колоссальных героев к очаровательной действительности – к своей молодой и прелестной жене, которая, наклонившись к его плечу, улыбалась ему с бесконечною любовью; налево – кабинет тестя, старца, исполненного благодушия, уже знаменитого артиста, талант которого приветствовал сам олимпиец Гете,<sup>[3]</sup> друга Брюллова и Кукольника, отрывавшегося от своего резца и своего карандаша только для того, чтобы любоваться счастьем своей дочери, не уступавшей в красоте лучшим античным произведениям... Кругом их молодежь, исполненная артистических и литературных талантов, кипящая надеждами, с утра до вечера толкующая о святыне искусства. Никаких претензий, никакого стеснения, совершенное равенство, полная свобода для всех, которые переступали за этот счастливый порог, почти патриархальная простота, искренность и радушие хозяев дома... Какая заманчивая картина! Кто бы из посещавших тогда дом графа Ф. П. Толстого мог подумать, что этот прелестный артистический колорит дома и это семейное счастье – только один мираж?

К числу замечательных ораторов литературно-артистических вечеров графа Толстого, за исключением царившего на них Кукольника, принадлежали: зять хозяина дома – жаркий поклонник Кукольника, повторявший с размахиванием рук и с сверкавшими глазами его фразы о святыне искусства, и тогда еще ученик академии – Рамазанов, ныне известный скульптор, рабски преданный Брюллову и также, трактовавший об искусстве очень фразисто и с тем внешним энтузиазмом, который так неприятно действует на слуховые органы. Господа эти ораторствовали, конечно, в отсутствии своих патронов; при них они только изредка

вмешивались в разговор. Граф Толстой говорил мало; с скромностью и благодушием он только слушал других, соглашался со всеми и всем приветливо улыбался. Кукольник обращался с ним почтительно и осыпал его преувеличенными похвалами, отзывавшимися лестию.

У графа Толстого есть довольно большой альбом рисунков для сочиненного им балета и очерки к «Душеньке» Богдановича.

Кукольник говорил, что это гениальные вещи, что трудно создать что-нибудь поэтичнее и выше, что очерки к Данту препрославленного в Европе Ретша – дрянь сравнительно с очерками Толстого к «Душеньке», и тому подобное.

Гости Толстого почти все были такого же мнения о трудах почтенного хозяина.

Каменский благоговел перед талантом своего тестя.

– У нас ничего не понимают в деле искусства, – кричал он с негодованием. – Какое-то отвратительное, постыдное равнодушие во всех: кто, например, ценит этого гениального старика? (Он указывал головою на Толстого.) Будь он англичанин или француз, его осыпали бы золотом с ног до головы, а здесь все его труды пропадают, не принося ему ни гроша... Это просто срам! Будь у нас умный, сколько-нибудь понимающий в искусстве директор театров, да он ухватился бы, как за клад, за рисунки графа для балета. Дай ему поставить этот балет на сцену – он принесет дирекции сотни тысяч!

Граф Толстой, в свою очередь, упрекал публику в равнодушии к отечественной литературе, потому что сочинения Каменского начали плохо сбываться и не производили уже никакого впечатления, к удивлению Владиславева, который смотрел на Каменского как на одну из надежд русской литературы и на поддержку своей «Утренней зари».

Я часто бывал на вечерах Толстого. Простота и бесцеремонность, царствовавшие на этих вечерах, вначале очень нравились мне... Любители бильярда целый вечер не выходили из кабинета графа, в котором стоял большой бильярд. Тут постоянно можно было найти что – то такое сделавшего с байроновым «Дон-Жуаном» г. Любича-Романовича с Анной на шее и с постоянно приятною для всех улыбкою. При появлении всякого входившего в кабинет г. Любич отскакивал от бильярда, обязательно протягивал ему свою руку и крепко жал ее. В зале собирались любители танцев и составлялись кадрили. Сам хозяин дома и брат его граф К. П. Толстой – превеселый старичок – подавали в этом пример молодежи. Граф Ф. П. Толстой тщательно выделял фигуры кадрили в своем обыкновенном домашнем костюме: в бархатной куртке, в вышитых туфлях и в шерстяных чулках. В кабинете у Каменского шли горячие толки о литературе и вообще об изящных искусствах. Он передавал планы замышляемых им творений или рассказывал о том, что созидает Кукольник, что замышляет Брюллов, какую они выпивку задали накануне и прочее. Всякий мог свободно удовлетворить своим наклонностям: играть в бильярд, танцевать, ораторствовать о святыне искусства или выслушивать планы повестей Каменского. Марья Федоровна Каменская была одушевительницею и царицею этих вечеров, которые оканчивались скромными, обыкновенными домашними ужинами с простым столовым медоком.

Граф Ф. П. Толстой вел жизнь чрезвычайно скромную, ни в нем самом, ни в его доме не было и тени каких-нибудь аристократических привычек и замашек. Он редко выходил из дому и всегда почти сидел с карандашом или с резцом в своем кабинете.

Он принадлежал к артистам старого поколения. Новое поколение артистов, развивавшееся под влиянием Брюллова – человека с дикими и неудержимыми страстями, – пустилось в эффекты, во фразы: кричало о величии артиста, о святыне искусства, отпуская бородки и бороды, волосы до плеч и облакалось в какие-то эксцентрические костюмы для отличия себя от простых смертных и в довершение всего, по примеру своего учителя, разнуздывало свои страсти и пило мертвую.

По мнению тогдашних молодых артистов, к ним нельзя было прилагать ту узкую и пошлую мерку, которая прилагается обыкновенно ко всем обыкновенным людям. Артист, как существо исключительное, высшее, мог безнаказанно вырывать серьги из ушей жены своей вместе с телом, предаваться самому грязному разврату и пьянству. Обвинять его в безнравственности могли только пошлые, рассудочные люди с мелкими потребностями, не понимающие широких титанических натур артистов и их волканических страстей. Это безумное возвеличение самого себя в качестве живописца, скульптора, музыканта, литератора, ученого; это отделение себя от остальных людей, которые получают презрительное название толпы или черни; это обожествление своего ума, своих знаний или своего таланта; это самопоставление себя на пьедестал – самое смешное и вместе печальное явление. В Европе оно ведет к доктринерству, у нас – просто к пьянству; оттого все наши широкие, артистические натуры кончают обыкновенно тем, что спиваются. Кроме положенных еженедельных артистически-литературных, великосветски-литературных и просто литературных вечеров, литераторы изредка сходились друг у друга и делали вечера. Самым гостеприимным из литераторов того времени был Е. П. Гребенка, постоянно сзывавший к себе своих литературных приятелей при получении из Малороссии сала, варенья или наливки. Гребенка в это время еще не был женат. Он жил на Петербургской стороне в казенной квартире 2-го кадетского корпуса, где был учителем.

Однажды он пригласил меня к себе вместе с М. А. Языковым, который пользовался уже тогда большою известностью между всеми литераторами, с которыми был я близок, как приятный и веселый собеседник, остряк и каламбурист. Многие принимали Языкова за литератора и сотрудника г. Краевского.

– Вы чем именно занимаетесь? – спрашивали его, – какая ваша специальность?

– Да так, – отвечал обыкновенно, улыбаясь, Языков, – больше по смесям прохаживаюсь.

В этот раз у Гребенки сошлось многочисленное общество и, между прочим, Шевченко, который начинал уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками; товарищи Гребенки по службе – А. А. Комаров и Прокопович (товарищ Гоголя по Нежинскому лицей и приятель его). Прокопович и Комаров оба очень любили литературу и пописывали стихи. С Комаровым я был знаком с детства и впоследствии, по приезде в Петербург Белинского, сблизился с ним еще более. О Комарове и о влиянии на него Белинского я еще буду иметь случай говорить впоследствии. На вечере у Гребенки некому было проповедывать ни о святине искусства, ни о каких-нибудь возвышенных предметах; там просто болтали о вседневных и литературных новостях и приключениях.

В начале вечера Гребенка познакомил меня с каким-то господином, бывшим в это время (это было чуть ли не в 1837 году) одним из главных сотрудников «Библиотеки для чтения». Фамилию этого господина я не припомню. Он имел очень почтенный и глубокомысленный вид и, вместо белья, шерстяную красную фуфайку, которая виднелась из – под галстука и высовывалась из-за рукавов.

Языков обращал на себя всеобщее внимание своими забавными рассказами и многих смешил до упада.

За ужином ему пришлось сидеть рядом с сотрудником «Библиотеки для чтения» в шерстяной фуфайке. Сотрудник изъявлял не только величайшее уважение к Языкову, но обнаруживал перед ним какую-то робость, как перед авторитетом.

– Позвольте спросить, – отнесся он к Языкову, – я имею честь говорить с нашим знаменитым поэтом Николаем Михайловичем Языковым?

– Так точно, – отвечал Языков, скромно потупя глаза и нимало не задумавшись.

– Очень лестно и приятно познакомиться, – сказал сотрудник, протягивая ему свою руку.

Языков, нисколько не смущаясь, пожал ее.

– Не подарите ли вы нас каким-либо новым произведением? – продолжал сотрудник.

– Да у меня есть много набросанного, – отвечал Языков с чувством достоинства, – но все это надо привести в порядок... Я все собираюсь и все откладываю.

Этот разговор был подслушан многими, и к Языкову стали обращаться с разными вопросами как к поэту, его однофамильцу. Языков выдерживал свою роль довольно удачно. Некоторые смешливые выскочили из-за стола...

Сотрудник «Библиотеки для чтения», после нескольких минут молчания, крякнул и снова отнесся к Языкову:

– Смею ли обратиться к вам, Николай Михайлович, – начал он, – с покорнейшею просьбою. Я сотрудник «Библиотеки для чтения», и если бы вы удостоили украсить наш журнал каким-либо хотя небольшим произведением, вы сделали бы истинное удовольствие Осипу Ивановичу Сенковскому, глубоко уважающему ваш талант.

Языков наклонил голову в знак благодарности за лестное мнение о нем Сенковского и отвечал, что в настоящую минуту он ничего обещать не может, но что со временем, может быть, когда что-нибудь обработает, и так далее...

– И самая надежда на получение от вас чего-нибудь будет льстить нам, – отвечал сотрудник.

В эту минуту многие не выдержали и покатались со смеху; но ужин кончился, и гром отодвигаемых стульев заглушил этот смех.

Где теперь этот сотрудник? Вспоминает ли он о своей встрече с знаменитым поэтом Языковым? И кто знает, может быть, в каком-нибудь повременном издании появится его статья под названием: «Воспоминание о поэте Языкове». Вот будет клад-то для наших почтенных библиографов и для г. Геннади, так неудачно редактировавшего последнее издание Пушкина и заставившего воскликнуть Соболевского:

О, жертва бедная двух адовых исчадий.  
Тебя убил Дантес и издает Геннадий!

После ужина все оживились еще более. Гребенка начал напевать малороссийские песни, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки.

В описываемое мною время кроме литературных собраний, о которых я упомянул, были еще известные немногим литературные небольшие сходки любителей, еще, так сказать, домашним образом занимавшихся литературой. К таким собраниям принадлежали вечера в квартирах у А. А. Комарова и кадетского капитана Клюге фон Кругенау. Они назывались серапионовскими вечерами (Гофман у нас был тогда в большом ходу). На этих вечерах наши серапионы читали по очереди свои сочинения. К числу их принадлежал и П. В. Анненков, впоследствии получивший в литературе известность изданием Пушкина и критическими статьями.

В доме у Николая Аполлоновича Майкова, бросившего меч для кисти и палитры, сходились также еще тогда темные любители искусств и литературы, из которых иных ожидала светлая Литературная известность. Тринадцати – или четырнадцатилетний сын Майкова Аполлон обнаруживал уже тогда значительный литературный талант. Из его стихотворений, из опытов брата его Валериана и из трудов друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочим И. А. Гончарова, – составлялись целые книжки, которые отлично переписывались, переплетались и показывались гостям Майкова.

И. А. Гончаров, без сомнения, много способствовал развитию эстетического вкуса в Аполлоне Майкове. Если я не ошибаюсь, к числу сотрудников майковского рукописного альманаха принадлежал и г. Дудышкин, ныне соиздатель г. Краевского по «Отечественным запискам».

Я усердно посещал все литературные вечера и сборища, которые уже начинали прескучивать мне, и убедился только в том, что за литературными кулисами так же нехорошо, как и за театральными... Я уже смотрел на литераторов, как на обыкновенных смертных и совсем перестал трепетать перед литературными авторитетами. На Кукольника я даже начал посматривать несколько с юмористической точки зрения. Он в это время стал беспрестанно появляться в различных кафе и ресторанах, окружаемый толпами любознательных офицеров различных полков.

Раз вечером я застал его у Доминика председательствовавшим за круглым столом, за которым сидели разные офицеры. Перед поэтом стояла бутылка пива и бутылка портера. Он мешал пиво с портером и ораторствовал.

В это время он был проникнут любовью – конечно, идеальной – к одной значительной даме (об этом он намекал) и писал свою поэму «Марию Стюарт». Вероятно, в Марии Стюарт он изображал ее, а в Риццио самого себя, хотя уже он вовсе не походил на Риццио: он значительно постарел, обрюзг, и лицо его приняло неприятный отек.

Он рассказывал офицерам о своем идеале.

– Она ходит по Летнему саду, – говорил он восторженным тоном, – вдоль и поперек, и я хожу вдоль и поперек. Что ни взгляд – то стихотворение. Двенадцать стихотворений в одно утро вынес.

И поэт вслед за тем выпил стакан пива и остановился. Один из офицеров толкнул другого и произнес в благоговейном изумлении:

– Слышишь ли – двенадцать в одно утро!

– А-а-а! – воскликнул Кукольник, увидев меня, щурясь и прикладывая руку к бровям, – это ты!.. Я сначала и не узнал тебя, – мы с тобой теперь видимся редко... Ты – Краевский...

Кукольник произнес последние слова таким тоном, как бы хотел сказать: «Ты пропащий человек!» – и махнул рукой.

Я говорил уже, что с г. Краевским он никак не мог сойтись. Г. Краевский не признавал в нем таланта, во-первых, потому, что Сенковский, Греч и Булгарин кричали о его гении, а во-вторых, потому, что вся пушкинская партия была очень равнодушна к поэзии творца «Рук», «Роксолан» и прочего.

В «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» появлялись о Кукольнике неблагоприятные отзывы. Он знал, что я принимаю участие в газете ему враждебной – и вот что означало восклицание: «ты – Краевский...»

– Ну, садись с нами! – продолжал Кукольник, – я еще по старой памяти люблю тебя. Здесь ты видишь все людей, горячо преданных искусству (он указал на офицеров) и тех, которые ему служат верою и правдою. Оттого они и Кукольника любят, – и потом он прибавил, улынувшись: – а твой Краевский ничего не понимает.

Кукольник говорил без умолку, но не совсем связно, Офицеры слушали его с тем простодушным благоговением, с которым я некогда слушал его. Они переглядывались друг с другом и, кажется, впивали в себя каждое его слово.

Я помню только, что к концу ужина он завел речь о Шекспире, заметив, что у него на Шекспира свое оригинальное воззрение, как и на все; что Шекспир – гений и Шекспир – дрянь, и что он умеет соединить эти, повидимому, две несоединимые вещи...

Фразы о святине искусства хотя еще не совсем огадились мне, но с каждым днем уже теряли для меня значение и делались приторными. Я начал притом смутно понимать, что в литературе господствуют устарелые взгляды и рабское поклонение перед старинными литературными кумирами, какое-то пошлое лицемерие перед ними. Мне хотелось услышать новое слово, голос правды, – но какой правды? я не отдавал себе отчета. Но это неопределенное желание начало пробуждаться во мне после двух – или трехлетнего пребывания моего в литературном кругу, еще до издания г. Краевским «Литературных прибавлений». От кого же было услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на которого еще с ожиданием и надеждою смотрело новое поколение, видимо ослабевал: бй не понял Гоголя и этот могучий талант встретил даже с недоброжелательством, да и Полевой принужден был скоро замолкнуть...

Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний номер «Молвы». В этом номере было продолжение статьи под заглавием: «Литературные мечтания. – Элегия в прозе». Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших номеров и принялся читать.

Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение, если бы это было можно.

Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня.

«Не оно ли, – подумал я, – это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?»

Я выбежал из кондитерской, сел на первого попавшегося мне извозчика и отправился к Языкову.

Я вбежал к нему с криком:

– Ну, брат, у нас появился такой критик, перед которым Полевой – ничто. Я сейчас только пробежал начало его статьи – это чудо, чудо!..

– Неужто? – возразил Языков, – да кто такой? Где напечатана эта статья?..

Я перевел дух, бросился на диван и, немного успокоясь, рассказал ему, в чем дело.

Мы с Языковым, как люди, всем детски увлекавшиеся, тотчас же отправились в книжную лавку, достали номера «Молвы», и я прочел ему начало статьи Белинского.

Языков пришел в такой же восторг, как я, и впоследствии, когда мы прочли всю статью, имя Белинского уже стало дорого нам.

Как ничтожны и жалки казались мне, после этой горячей и смелой статьи, пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах!

В статье Белинского, я это очень хорошо помню, я останавливался с особенным удовольствием на следующих строках:

«У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую правду у нас святотатство!» (Соч. Белинского, том I, стр. 38).

«Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить (какие пророческие слова!) распространению на Руси основательных понятий о литературе?.. Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествуобществ» (стр. 57).

Эти строки были мне по сердцу, потому что после моего детского увлечения Кукольниковом, после смешного и рабского преклонения пред ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его.

И как понятна ненависть, которую питали к Белинскому тогдашние литературные знаменитости и посредственности, лицемерившие перед старыми авторитетами из боязни за самих себя, за собственную литературную участь.

«Чего остается ожидать для себя, – говорил Белинский, – например, г. Иванчину – Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений и другие подобные безбожные мнения?» (стр. 58).

Это же самое явление повторяется, к сожалению, и в наши дни. Осмейтесь сказать, что Пушкин не мировой гений, что его время уже проходит, что он не может удовлетворять потребностям нового поколения, – литературные знаменитости нашего времени восстанут на вас с таким же ожесточением, с каким некогда восставали против Белинского литературные знаменитости его времени; и теперь раздадутся те же крики, и вас станут обвинять в невежестве, в безвкусице, в безбожии, в святотатстве, как некогда обвиняли Белинского... Но об этом лучше молчать.

Гоголь встречен был молодым поколением с еще большим энтузиазмом, чем Белинский.

Новый мир открылся для меня, когда я прочел «Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча» и «Миргород». Его «Вечера на хуторе», приветствованные Пушкиным в «Литературных прибавлениях» Воейкова, признаюсь, не произвели на меня большого впечатления... Но о Гоголе и о перевороте, который он произвел в литературе, мне еще придется говорить много раз.

После «Литературных мечтаний» и статьи о Бенедиктове, которая наделала большого шума, я уже не пропускал ни одной статейки Белинского.

О личности Белинского начали носиться между петербургскими литераторами какие – то сбивчивые, противоречивые и неблагоприятные слухи. Его смелость и резкость действовали неприятно на литераторов. Они видели, что на них идет нешуточная гроза. Мне ужасно хотелось узнать, что за человек Белинский, и я очень обрадовался, узнав о приезде в Петербург А. В. Кольцова. Я знал, что Кольцов близок с Белинским. Кольцов приехал в Петербург уже после напечатания в «Телескопе» моей повести «Она будет счастлива». Краткий отзыв Белинского об этой повести польстил в высшей степени моему самолюбию. Быть замеченным в литературе в первый раз – и кем же еще, этим неумолимым и беспощадным Белинским! Такой чести я уж никак не ждал. Говоря, что с некоторого времени его великодушные неприятели приписывают ему все значительные статьи в «Телескопе», Белинский прибавлял, что ему, между прочим, приписана повесть «Она будет счастлива», «обнаруживаются в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство и умение владеть языком»... (Соч. Белинского, т. I, стр. 271).

Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам.

Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты; художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензией на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и даже раздушон. Впоследствии за эти духи ему жестоко доставалось от Белинского. «Охота вам прыскаться и душиться какою-то гадостью, – говорил он, – от вас каким-то бергамотом или гвоздичкой пахнет. Это нехорошо. Если мне не верите, спросите у него (и Белинский указывал на меня): он франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле».

Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проникательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно.

– Да-с, Иван Иванович, Белинский единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов, – это очень жаль-с... И какой светлый ум у этого человека! Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний: он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне!

Кольцов рассказал мне некоторые подробности о жизни Белинского. Он был в восторге от московского кружка Белинского и говорил:

– Приезжайте в Москву-с. Вы увидите, там люди больше по вас, и Белинский будет очень рад вам. Он заочно полюбил вас.

До знакомства моего с Белинским Кольцов приезжал раза два или три в Петербург и в один из приездов привез мне первое письмо от Белинского.

Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, с покровительством, как на талантливого мужичка.

Но этот мужичок, усвоивший уже себе кое-какие из убеждений и взглядов московского кружка Белинского и прочитавший все пьесы Шекспира в русском переводе (Шекспир произвел на него глубокое впечатление; он говорил о нем с энтузиазмом, особенно о «Гамлете», которого, по его словам, объяснил ему еще более Мочалов на сцене), этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов – своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.

– Эти господа, – прибавил Кольцов в заключение с лукавою улыбкою, – несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаниями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с.

– Ну, Алексей Васильич, – сказал я ему, – ведь и я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.

Кольцов улыбнулся.

– Да ведь на меня, Иван Иванович, – возразил он, – человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди, – я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят, вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка... а ведь я не глупее же его. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч – люди очень добрые и почтенные... Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, уж он так меня обласкал, а впрочем московский кружок – то есть я разумею именно кружок Белинского – все-таки нельзя сравнить с здешними: вот вы поедете в Москву, сами убедитесь в этом... Я, откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей... К тому же у этих людей есть чему поучиться.

Почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа.

Но я узнал еще ближе Кольцова впоследствии, когда переехал в Петербург Белинский.

### **Примечания**

3. Граф Толстой, после выпуска коллекции своих медалей к войне 112 года, получил письмо от Гете, в котором великий германский поэт в очень лестных фразах отзывается о таланте русского художника.